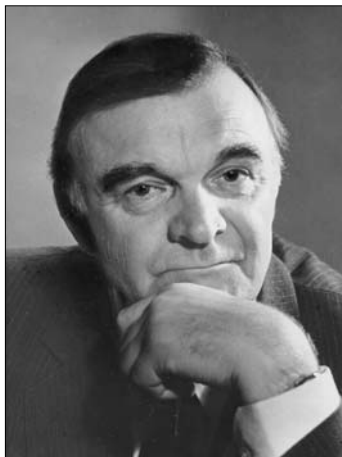


ЮРИЙ БОНДАРЕВ



МГНОВЕНИЯ

В ПРОСТРАНСТВЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Наверное, тысячу лет назад мы, трое выздоравливающих, в распахнутых халатах, сидели на крыльце госпиталя и наслаждались солнечным раем. Старый госпитальный парк, разрисованный тенями в полуденный час, был тих, безмятежен, покоен, его дорожки и тропки безлюдны. В высоте шевелились, нежно общаясь между собой, верхушки берез, и в синем обилии света мне, девятнадцатилетнему артиллерийскому лейтенанту, казалось, что молодая листва наслаждалась, как и мы, весенним воздухом, там в листве шла счастливая птичья игра.

Связист Михеев, не торопя удовольствие, сладко посасывал длиннейшую самокрутку, не без добродушного интереса поглядывал на пулеметчика Сомова, который сидел на припеке деревянных перил и, прищуриваясь, виртуозно вонзал в перила немецкий стопорный нож, при этом говорил с веселой откровенностью:

— В общем-то отчаянные у нас бабешки, я уж их знаю, братцы мои! Мужики на фронте, а они вроде бесятся с чертом под ручку!

И он выдернул финку, по-хозяйски потрогал пальцем лезвие и снова вонзил.

— Мда-а... А вот вчера после спикировал я к одной. Здесь, в нашей столовке работает, и живет неподалеку. Как звать — мое дело, вам не на-

БОНДАРЕВ Юрий Васильевич родился 15 марта 1924 года в городе Орске. Участник Великой Отечественной войны. Прошёл от Сталинграда до Польши, награждён множеством орденов и медалей. После войны окончил Литературный институт им. Горького. Автор множества произведений, вошедших в сокровищницу русской литературы, таких, как "Батальоны просят огня", "Тишина", "Горячий снег", "Берег" и многие другие. Дважды лауреат Государственной премии СССР и многих других значительных премий. Постоянный автор журнала "Наш современник". Живёт в Москве.

до. Ну, по договоренности прихожу ночью, я в халате по всей госпитальной форме. Она разом молочка мне на стол и эти... как они называются, беляши, какись. Раскраснелась, красивущая, всё при ней. “Ешьте, Петенька, вам поправляться надо”. Сел, смотрю — в кровати девочка спит, беленькая курносенькая, лет четырех. Замужем, спрашиваю, она молчит. Глаза опустила. А грудь высокая, так ходуном и ходит. А мне все ясно. Как же, говорю, изменяешь, значится, мужу? Жив он? На войне? Ну, переночевал я, а утром спрашиваю: муж любил тебя? А она как заревет, упала на кровать, слезы ручьем, плечи трясутся. Нашкодила, видать, не только со мной. Вот они тыловые бабешки. Нашкодила!

Я смотрел на его дерзкую крепкую шею, и думал, что этот Сомов, должно быть, неплохо воевал, на передовой можно было на него положиться, но его высказанное презрение к тыловым бабешкам неприятно задело меня.

Светловолосый, раненный в ноги связист Михеев, на костылях, морща круглые брови, смущенно кашлянул:

— О женщинах, похоже, в сердцах рассуждаешь, а сам к ним, как голодная муха, липнешь. Как-то ты неудобно рассуждаешь.

А Сомов, вырезая свою фамилию на периле крыльца, усмехнулся и сказал:

— Сображать надо! Не я к ним, а они ко мне.

Я сразу говорю без стеснения: холостой я, как пень в болоте, а жениться ни за что, потому что не встретил такую, чтоб головой в омут, а другие — те, да не те малость! Я, Матвеев, к ним как жеребец не лезу. Я нежно с ними, а они, ведьмочки, ласку-то на километр чувят! Скажу тебе, тут я ко второй уже прилабунился, чего ж не лабуниться, ежели тебя привечают. А чего мне? — продолжал Сомов, посмеиваясь. — Война, Михеев, причина тому что женщинки стыд потеряли, моргни — она и бежит со всех ног! Война, мол, все спит. Вшистка едно война, панове! Хорошо, брат, что до войны не женился, доверия к ним ноль, один пшик! Знаю я их. Они, брат, тебя любовью научат! А ты женат, Михеев?

— Дурак ты, извини, — пробормотал Михеев. — Да я за свою жену жизнь не пожалею! Понял, нет?

Сомов засмеялся.

— Сдаюсь! Ох ты, девица красная из деревни Иванушки-Степанушки. Знаем, брат, кто в тихом омуте!.. Не поимей обиду. Вот вернешься к жинке и прямо на пороге вались с молитвой на колени — твой, мол, был до гроба! Проверь! А она как проверит-то? Ха-ха!

И нацелив трофейный нож на дымящиеся парком перила, заговорил серьезно:

— Я, брат, не против законного брака! Свой очаг, детишки! Да ежели такая встретится, упаду к ее ногам, заплачу и скажу: всю жисть, всю жизнь тебя искал! — Он задумался, помолчал. — Да-а, ходит здесь одна женцинка-врач... Из хирургической палаты. Такая вся красивая, строгая, в глаза заглянешь — сердце останавливается. Три раза клинья подбивал, всякие книжные и польские слова говорил и так далее... Смеется, как серебро сыпет: “Сомов, вы до войны артистом работали или в клубной самодеятельности?”. А я не верю что она целехонькая. С офицерами ранеными, небось, шашни крутит. Госпиталь — мужчины и женщины рядом, чего там? Все мы слеплены из одного теста.

— Ты про Нину Николаевну, что ли, говоришь? — неприязненно спросил Михеев. — Эх, и нахальный ты! Разве она тебе пара? Ты ведь четыре стула в комнате расставить не можешь, необразовщина ты!

Сомов самолюбиво сузил глаза.

— Что ж, она, не сомлеваюсь, образованная, да я тоже свет посмотрел, лапоть ты, Михеев! И в Польше, и в Чехословакии, и в Венгрии побывали. И иностранным словам туда-сюда научились, не так себе, кое-что знаю, что к чему. Чую — еще айн момент и не устоит она, а момента нет. Ты, Михеев, в этом ни хрена не петришь. Ты всю жизнь одну и ту же женщину до полусознания мусолишь и будешь мусолить, младенец ты, молокосос несчастный!

— Ты что это? За что меня? — крикнул растерянно Михеев.

Я был самым молоденьким из госпитальных офицеров, хотя командовал артиллерийским взводом, повидав кое-что на войне, и воспитанный матерью после смерти отца, готовый в школьные годы по-мальчишески отрешенно защищать ее и младшую сестру, не утратил сыновье чувство вдали от дома.

— Ты зачем так смотришь, лейтенант? У тебя такое лицо, вроде ударить меня собрался! — губы Сомова сжались, и он соскочил с перил. — Рана никак открылась или... ты чего обозлился?

— Сядь! И молчи... — сказал я и слегка толкнул его в плечо.

Сомов упал в кресло, изумленно повторяя:

— Зуб на меня имеешь, лейтенант?

— Если скажешь хоть еще одно дурацкое слово о женщинах... — заговорил я, чувствуя, что говорю как будто не я. — Лучше молчи!

— И о моей жене молчи! — крикнул Михеев и стукнул костылями в пол.

— Вшистка една война, — заговорил я насмешливо. — Неужели только этому научился на фронте, Сомов? Если нет, значит, ты чужим горем пользуешься? — Что это я — учу его? Он старше меня!

— Да вы чего окрысились? — яростно вскричал Сомов. — Чего на меня напали, лейтенант? Какого хрена пристали? Я что — фриц какой-нибудь?

— Шелудивый ты маленький насчет этого... — вздохнул с горечью Михеев. — Кому война, а кому мать родна.

— Подождите, Михеев, — прервал я его. — Я знаю, Сомов, что у вас есть мать, — сказал я, ненавидя себя за намерение нравоучительности, и не договорил.

— А какое мать имеет отношение?

— Не верю!

Сомов деланно рассмеялся, но прищуренные зеленые глаза оставались зло напряженными.

— Ей-богу, небесные ангелочки! Крылышек беленьких не хватает! Летали бы! А пошли вы ко всем святым... и подальше! Ясно куда? Люблю баб — и на том свете ответ я держать буду, а не вы! Не ваше собачье дело, а мое личное! Ясно вам, хреновые умники?

Он резко выдернул нож из перил, завернул в тряпку, сунул в карман халата. И с неприступным, затвердевшим лицом соскочил прыжком со ступеней крыльца в госпитальный парк, где по песчаной дорожке в сторону хирургического отделения шли, чему-то смеясь, две медсестры в невинно-ослепительных белых халатах. Сомов оглянулся на нас и двинулся навстречу им, тоже смеясь...

Да, это было тысячу лет назад, и в необъятном пространстве тысячелетия я вспомнил секунду моего бытия, и госпитальное крыльцо, и майский день, и пулеметчика Сомова, и связиста Михеева, которых никогда больше не встречал, и увидел себя со своей наивной чистотой и вместе честолюбивым бесстрашием молоденького лейтенанта-артиллериста, выбивавшего немецкие танки в Сталинграде и на Курской дуге.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Не могу понять, почему через “тысячу лет” (в 2013 году) захотел увидеть эту ночь и этот рассвет, когда началась Великая война, длившаяся долгих четыре года.

Я смотрел на рассветное небо, а оно зеленело, нежно розовело за деревьями, пустынно-ясное, обещающее молодость, любовь, безмятежную жизнь. Ветви берез отчетливо вырисовывались среди светлеющего востока, проступая листвой в застывшей неподвижности. Не было ни звезд, ни месяца. Как в околдованной воде стояла ночь на хрупком переломе, еще длился час неустойчивости всего земного.

И в этот час непорочного рассвета началось то, что стоило нам многих жизней, и то, что закончилось триумфальным разгромом Германии.

Мы закончили войну в славе, силе, уверенности. В боях мы не растеряли романтизм, надежду и веру.

В судьбоносный, бесповоротный момент страны большинство людей должно задуматься, что жизнь дана для жизни, услышать гул собственной крови от праведного гнева, от радостной надежды и осознать, что в нашей жизни самая укрепленная крепость — справедливость, последняя крепость, где вдруг возгорается сопротивление — корыстной силе и тупому насилию. Эта крепость — дух народа, его гены, золотые зерна мысли, его опора, воля к сопротивлению. Малодушие, безволие есть смерть, конец нашей истории, непроглядная тьма.

Я верю в тысячелетнюю неугасимую звезду России.

ЗАВИСТЬ, СТРАХ, МУДРОСТЬ

Состояние зависти нельзя определить однозначно, но так или иначе оно возникает из болезненного осознания превосходства чужого ума и таланта или же заметной манеры поведения: уверенной мужественности, спокойствия, заученной ласковой снисходительности к слабому полу, достойного великодушия сильного человека.

Чрезвычайное распространение зависти приближено к чувству страха перед самим собой, проявляясь собственной неполноценностью, самоуничтожительно превращая ее в недостижимость перед чужим превосходством. Однако порой это чужое превосходство воспламеняет такую энергию самолюбия, соперничества, враждебного тщеславия, что он, завистник, весь напрягаясь, задыхаясь от злых усилий, изредка в чем-то, пожалуй, нагоняет предмет своей неизлечимой зависти.

Можно ли представить истинный талант современной словесности или кисти, который испытывает непосильную ревниво-завистливую муку к гению Толстого, Шолохова, Сурикова, Репина? Нет, здесь иное духовное состояние — соприкосновение с наивысшей шкалой мирового искусства, художества и с неиссякаемой мудростью.

УБЕЖДЕННОСТЬ

Российская интеллигенция от века утверждала, что свобода и культура жизнеспособны и неразделимы — но это не либеральная форма придуманной морали в расшитом декадентском камзоле и не та власть своеволия слова, которая отдает человека в нечистые руки антиморали, делающая человека несвободны. А та власть, которая требует исполнения естественного долга каждого перед всеми и всеми перед каждым. Это и есть суть долга перед жизнью — наивысшая целесообразность в устройстве общества.

Свобода немислима без осознания этических обязательств. Нельзя быть освобожденным и от ближнего своего, и от природы. Свобода вместе с культурой не инстинкт, не страсть, не ощущение “субъективного образца объективного мира”, а разумная убежденность в общности природы и людей, способная обновить и объединить мир.

ЗАДАННАЯ ЦЕЛЬ

Уродливые позы в телевидении и прессе не всегда проявляют у людей разумных желание полемизировать с так называемыми правдолюбцами, избравшими манеру вседозволяющего, точнее — непристойного стиля. Тем более что охраняющие истину доказательства, неодержанная ответная брань или же спокойные аргументы могут глушцам всех мастей и тушицам, коим несть числа, показаться слабостью, оправданием, даже виной, а это унижает истинность реальности и удлиняет срок клеветы, которой предназначено умереть своей смертью.

Какими бы виртуозными ни были выпады и выходки, какой бы изощренно-иезуитской ни была озлобленность в намерении как можно больше ударить незаурядного политика, общественного деятеля, грош цена всем этим попыткам, ибо не такому уж темному народу в конце концов становится ясно, что в ненависти мельтешит пакостная физиономия лжеца, бесстыдно извращающего истину, торгующего моралью, совестью и правдой. Давно уже нет сомнения, что заданная цель купленной, перекупленной и заложенной серо-желтоватой прессы и аморального “голубого экрана” — это подвергнуть идиотизации в нашем великом прошлом, в первую очередь, духовные и народные ценности, то есть вырвать героические страницы из человеческой летописи, приговаривая, что у славян не было и нет своей истории. После этого на безжизненном пустыре, обработанном “пятой колонной” и американскими бульдозерами, вырастить бумажные розы завезенного колониального образца и придумать не третий, а четвертый слаборазвитый мир с людьми, на шее которых будут висеть колокольчики, как у прокляженных в средние века.

ИСТИНА

Истину ищут сознательно и подсознательно, но зачастую не находят ее до конца жизни.

Может быть, действительно, ее поиск — это выбор между Богом и Сатаной?

Или между правдой и ложью?

Или между добром и злом?

Или между ненавистью и любовью?

Или между великодушием и жестокостью?

Или между страхом и мужеством?

Или между нежностью к женщине и холодным влечением?

Или между плюсом и минусом, ибо то и другое может испортить судьбоносную формулу в науке?

Потом невольно возникают следующие вопросы, ждущие ответа:

Если добродетель и зло держатся на одном основании, то неужели — уничтожив одно, уничтожается и другое?

Что такое ожидание и надежда, сопутствующие человеку всю жизнь?

Где истина — в сердце, в душе, в сознании, в жизненном опыте, в страданиях, в радости? Где?

Великая истина в подоблачном звуке музыки до тех пор, пока оно, это чудо, не испорчено лживостью земных слов не только нечестивцев, но и праведников. Музыка — поднебесное очищение души.

Тертуллиан сказал: “Мысль есть зло”. Но современному человеку хочется возразить мудрецу: зло, наверно, есть качество, а не мысль, а мысль — данный нам инструмент познания сущего. Мысль суть и зло и благо, утверждение и отрицание, то есть путь к истине. Древние говорили, что прочность истины является согласием с учением Аристотеля. Но, пожалуй, оно открывается одному мудрецу в многообразии жизни. Значит — не единична. Поиск истины — это не что иное, как поиск справедливости самой жизни, как существования на земле.

Вера же — чувственное отношение к истине.

ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА

Настало время не произносить речи в сенате, как произносили во времена Цицерона и Крипса, а действовать, ибо слово, конечно, — движение и действие.

Мы оказались в тяжелом положении, потому что разрушаем триаду — государственность, народность, веру. И возник определенный фон, я бы сказал, социально-нравственного напряжения, которое напоминает натянутую струну.

Пусть простят меня воинственно-либеральные представители нашей печати и средств массовой информации, если по их адресу я скажу горчайшие слова. Понятия “демократия”, “свобода” и “гласность” сначала восприняты были с повышенной надеждой. Затем подъем этот начал вызывать чувство неловкости. Если говорить о длительной разрушительной тенденции, то нетерпеливо ожидаемая гласность раскололась на левую и правую, зачастую стала ложью, которая ныне больше похожа на правду, чем сама правда. Наша ультра-пресса разваливает фундамент социалистической цивилизации, а дом, как известно, в воздухе не построишь. Наш фундамент — это омытая потом и кровью история России, ее героические истоки, духовность, культура, экономика и труд четырех поколений. Нам было заказано судьбой укрепляться на том, что уже сделано, и вместе “поспешая, не торопясь”, мужественно и упорно совершенствоваться и двигаться своим путем.

В этом движении воля к сопротивлению, дух народа, его гены — золотые зерна будущего России.

БОЛЕЗНЬ

Он ощущал обморочную слабость в ногах, но мог уже передвигаться, а когда дошел из ванной к постели, обильная испарина облила его, задрожали колени. Впервые за двадцать дней болезни он почувствовал, что тело стало невесомым, а постель отвратительно пуховой.

“Все к тому... — подумал он, ложась и закрывая глаза. — Как это у Толстого? Да, вот... вспоминаю, вспоминаю... распахнулась дверь и вошло Оно. Неужели это бред? Дверь не распахивалась, и Оно не входило... В комнате везде темнота, сплошная темнота и я не вижу Её... Но кажется: Оно сидит у моего изголовья. Я почему-то не чувствую ни одного её движения, и все же мне чудится, что Оно неосознано гладит меня по голове... Не прикасаясь, гладит ветерком ледяного дыхания, и я слышу в белом тумане ее бесплотный, голос: “Боль пройдет, и наступит блаженная пустота, где нет боли и нет мыслей, и поверь, ты уйдешь в наслаждение, без надежд и несвершившихся желаний, это они лукавят и приносят страдания. Поэтому поверь мне: желаний нет... выше небесного наслаждения ничего, поверь, нет”.

“Не надо! — застонал он, не слыша своего стога. — Не надо мне блаженной пустоты! Я хочу жить!”

Но появилась мысль, враждебно поглощающая его целиком:

“Помни, что нет ничего неподвластного времени, помни, что проходит земной цикл, и впереди железобетонная непроницаемая стена загораживает всё любимое тобою, а там за стеной бездонный обрыв, дышащий тьмой, без самоощущения себя...”

Потом он уловил другую мысль, которая скользнула лучезарно-голубым лучиком. Зачем же его сознание вмещало недостижимые звездные миры, неизмеримые пространства вселенской темноты и в ее бескрайности появление закономерной случайности — появление на свет его, в некое число некоего тысячелетия, где неуклонной судьбой уже предназначен был роковой срок ухода. Какая же это несправедливость! Неужели осознанность неминуемого рока не придает множеству его ничемных поступков бесславную тщетность? И все рядом с ним, примитивно подражая муравьям, да, именно муравьям, не прекращают ничёмной деятельности, озабоченные воображаемой ее необходимостью. И они, существуя в ежедневной суете сует, до конечного часа убеждены в ценности личного существования, в снисходительность судьбы, и не верят в неизбежность ухода, зная, что всё, абсолютно всё, имеет заданные начала и предназначенные концы, ибо и звёзды гаснут...

“Нет, нет, я хочу жить... хочу только жить... Ведь надо заставлять себя жить. Кто это сказал? Разве кто-то произнес эти мудрые слова?..”

И когда в его сознание всплыли эти мысли, в ту минуту сопротивляясь и вместе подчиняясь новой земной жадности вдохнуть воздух, он тогда еще не понял, что всемогущая судьба сжалась над ним, и началось его медленное выздоровление.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Он взял ее руку, осторожно отогнул край перчатки и, едва касаясь губами, поцеловал в запястье.

— Я вас люблю, — сказал он виновато.

— Вы? Любите меня? И давно?

— Целую вечность. Я вижу — вы смеетесь? А мне не до смеха. У вас так заблестели глаза, что мне стало не по себе.

— Ну что вы! Просто невероятно! Вот мы с вами едем в автобусе с прекрасного университетского вечера по домам, а у вас в голове некое кавалерское несоответствие. Поэтому простите за ненаучно-фантастический вопрос. За что же вы меня любите?

— Хотите посмеяться надо мной? С какой стати? Над этим не смеются.

— Я историк, серьезная дама, и мне, уважаемый физик, не полагается особенно веселиться. Вы просто ошеломили меня. Тем более, вам, наверное, известно, что я замужем.

— У меня нет права оскорблять вашего мужа? Я сказал, что люблю вас, и это услышали только вы. Я не чувствую вины и могу повторить фразу, которая вас ошеломила. Разве вам ни разу не объяснялись в любви?

— Можете повторить, если вам так решительно хочется.

— Я люблю вас, Нина Викторовна.

— Спасибо. Ну вот теперь все сказано и давайте помолчим.

Она отвернулась к окну, он сбоку увидел ее чуть-чуть дрожащие от улыбки ресницы, ее пленительную, раньше не замечаемую им, серьгу, полуприкрытую каштановыми волосами, и ему нестерпимо захотелось взять ее руку, отодвинуть край кожаной перчатки и опять осторожно поцеловать в запястье.

Он несмело погладил и сжал ей пальцы. Она вопросительно взглянула на его покорное, какое-то беззащитное лицо и неожиданно сказала с веселой дерзостью:

— Знаете что, на вечере мы выпили с вами по рюмке, но в голову мне пришла сейчас чертовски бредовая мысль. Поедем куда-нибудь, хоть на Воробьевы горы, сверху зиму московскую посмотрим! Новогоднюю! Как вы? За или против?

— Не спрашивайте, — ответил он обрадованно. — Неужели вы могли подумать, что я отвечу “против”?

— Значит, ходим на первой остановке и ищем такси. Прокатимся по Москве и — на Воробьевы...

— С удовольствием.

Они сошли на первой остановке, заснеженной, безлюдной, и засмеялись от окружившей их свободы зимней ночи, от ее пустынной в этот час улицы, от розовых, озаренных огнями сугробов, от праздничного скрипа снега под их ногами.

— Так гораздо лучше, — сказала она и придвинулась к нему не смущаясь. — Почему вы смотрите на меня, как на исторический экспонат? В автобусе вы были одним, сейчас как будто другим. Почему вы молчите? Я вас не узнаю.

— И я вас. Вы замечательная...

— Если так на самом деле, то поцелуйте меня, — сказала она не то насмешливо, не то с вызовом и сделала шаг, легонько притянула его к себе.

И он подумал, что она серьезная умная женщина, но ведет легкомысленную игру с ним, наклонился к ее близкому лицу и губами коснулся ее виска.

— Ну вот, ей-богу... Поцеловал меня как девочку!

Она поощрительно похлопала рукой в перчатке его по щеке и шутливо приказала:

— Извольте-ка поцеловать меня как мужчина. Вы это умеете?

Он понимал, что она, чувствуя его неловкость в традиционно мужском ухаживании, по-женски с опытной кокетливостью командовала им, и эта смелость обрадовала его. Он неуклюже обнял ее, но тут же опомнившись, с

порывистой нежностью приник к ее губам, мягко шевельнувшись под его губами.

— Любая машина — наша! — отрываясь от нее, по-мальчишески крикнул он и выбежал на середину мостовой, взволнованно вглядываясь в обе стороны с надеждой, что ему повезет: добрый его покровитель помогал ему в эту ночь.

Это место Москвы, заваленный снегом бульвар по ту сторону дороги, отдаленный от шумных нескончаемых толп машин на шоссе, были заповедником января с его новогодними сутробами, залитыми светом фонарей и уличных окон, горевших огнями елок на этажах напротив бульвара, и мнилось: где-то не так далеко плавала между небом и снегами греховная музыка, вызывая легкомысленное настроение у обоих.

Они остановили первую попавшуюся машину, оживленно сказали водителю “Воробьевка”, а когда сошли на этой самой Воробьевке, начали искать удобную дорогу для осмотра города с высоты. Такую дорогу они не нашли — даже боковые тропинки были глухо замечены метелями, но это ни ей, ни ему не испортило настроение.

— Вот что, — сказала она оглядывая черноту неба с острыми уголками звезд. — Небеса нам не помогают. Будем надеяться на себя. И на меня. Вы не против, мужчина?

— Слухаюсь, как говорят поляки. — Он с послушным видом приложил два пальца к виску.

— Сейчас снова ловим машину и, если не возражаете, едем ко мне на чашку кофе. Я живу одна. Я — почти разведенка. Знаете, что это такое?

— Догадываюсь. Но кажется, вы сказали, что замужем.

— Почти. Я живу в Москве, а муж далеко за океаном. В Сиетле. Он, представьте, консул. Встречаемся раз в году. Сиетл — город в Америке, на берегу океана.

И он подумал, что они преподают в одном университете, встречаются в деканате, на ученых советах, на конференциях, всякий раз дружески улыбаются друг другу, и это было обыденно и необъяснимо тепло, когда глядел на ее темнеющие ресницы, на ее глаза, задорно молодеющие от смеха. Ему нравилось, как она смешливо подымала брови, как приветливо поворачивала голову, когда он обращался к ней. Она, по-видимому, нравилась не только ему, в перерывах между лекциями ее окружали студенты, и ему тоже захотелось побывать хоть бы на одной из ее лекций по новой истории, но он пока не решался.

“Мне повезло”, — опять подумал он, садясь с ней в машину, и, довольный собой, сказал, что теперь должна командовать она, указывая путь до своего дома.

Когда в лифте с высоким зеркалом, какие бывают в многоэтажных московских домах, поднялись на восьмой этаж и вышли на лестничную площадку в окружении солидно обитых кожей дверей, он тщетно попытался заранее угадать дверь ее квартиры.

Было ему странно и любопытно: из раскрытой квартиры, задрав хвост, придавливаясь к косяку, тонко, по-детски мяукая, высунулся в переднюю белый котенок. И она вскрикнула радостно, подхватывая его на руки, прижимая к щеке.

— Ах ты, басурман мой милый! Соскучился? Голодный? Потерпи малость. — И, посадив котенка на диванчик в передней, договорила: — Мой любимец, мой друг. А теперь раздевайтесь, дорогой гость, проходите в хоромы, где проживает, смех, смех, смех, одинокая разведенка!

— Почему смех? — удивился он. — Вы довольны одиночеством?

— Привыкла. Стараюсь не думать об этом. Ведь я не могу переменить профессию мужа. Да и он привык месяцами не видеть меня. А телефонные разговоры — это игрушки, светская забава. Садитесь, уважаемый физик, на этот диван к столу. А я посмотрю в баре что-нибудь для вас интересное. Новогоднее. Хотите виски?

— Вероятно, нет.

— Джин?

— Тоже нет.

— А коньяк армянский?

— Это географически поближе. Рюмку выпью. Боже праведный, да у вас целая библиотека, Нина Викторовна! — воскликнул он, с интересом оглядывая заставленные книгами полки в просторной комнате с незадернутыми шторами на широких окнах, за которыми сверкали и пылали новогодние огни. — И вы все прочитали? — Он жестом выразил восхищение. — Или вместе с мужем? Наверное, читали по вечерам вслух?

— Вот здесь все по истории, учебники, исследования, мемуары, воспоминания, — сказала она нарочито учительским тоном. — Это мое. И вслух я не читаю. А тут — сплошь художественная литература. Это тоже мое царство, тут ближайšie друзья. Особенно, когда остаюсь одна. Да, я ищу дружбы с Толстым, с Буниным, с Чеховым... Но не такой дружбы, как с вами... — Она смело взяла его за плечи и длительно посмотрела ему в глаза. Не выдержав ее взгляда, он сморгнул. — Такой дружбы, как с вами, — повторила она и вдруг с улыбкой поправилась: — Хотя вы и сказали, что любите меня... Но какой дружбы я ищу с вами, я еще не понимаю, не знаю...

— Не знайте и не понимайте, — прервал он ее тоже комично: — Не топшитесь.

Он бережно снял ее руки с плеч и поцеловал ей пальцы. Она достала из бара коньяк, две рюмки, вазочку с орешками и пригласила к столу:

— Давайте выпьем коньяку и будем рассказывать смешные истории. Но первая рюмка — за Новый год. Мужчины, разливайте. И будьте главой стола.

Он, несколько сконфузясь неопытностью быть главой стола, преувеличенно старательно разлил по рюмкам, они чокнулись и взглянули друг на друга с одной и той же мыслью.

— С Новым годом, Нина Викторовна... правда, вчера прошедшим, — произнес он, запнувшись. — Если вы не против, позвольте вас поцеловать в щечку?

— Пожалуйста, не забывайте, что шестнадцать лет мне давно миновало.

И она легонько махнула пальцем по щеке, будто сбрасывая возможный невинный поцелуй, и покорно подалась к нему, приблизив полуоткрытые губы. Этот поцелуй показался ему слишком откровенным, как сладостный внутренний ожог, заставивший его прерывисто вздохнуть, а она отклонилась, сдерживая смех.

— Что с вами, вы были женаты или вы природный холостяк?

— Мы разошлись через двадцать дней после закса. Пожалуй, холостяк.

Они помолчали и выпили коньяк молча. В тишине резко зазвонил телефон, она вздрогнувшими глазами глянула на стенные часы, словно встревоженно проверяя точность звонка, неспешно поднялась и своей гибкой молодой походкой подошла к телефону на письменном столе, помедлила, повернулась к нему спиной и сняла трубку.

Вспоминая эти последние минуты в квартире Нины Викторовны, он ясно помнил, как она стояла у телефону спиной к нему, видел ее наклоненную голову, убранные в пучок каштановые волосы на затылке, ее серьги, не вполне принятые носить в университет, и по тому, как она страстно произносила: “Да, я одна, я одна!” — он уже не сомневался, что она говорит со своим мужем, и ничего, кроме ее голоса, не воспринимал, сознавая единственное — это говорит она, Нина Викторовна, нисколько не стесняясь его присутствия в комнате.

— Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя! Не выдумывай, ради бога, глупости! Я одна, я одна, я одна! И безумно скучаю по тебе! Я не позвонила, виновата! Молчи, молчи! Я люблю тебя, ненаглядный мой!..

Его уколола невнятная боль в груди, и, обеими руками опираясь о столик, он оттолкнулся от дивана и почему-то на цыпочках двинулся по толстому ковру в переднюю, убеждая себя уйти, немедленно, сию минуту, не медля ни минуты вон!..

Она увидела его движение, сдавленно прошептала в трубку: “Я перезвоню”, — и бросила трубку, кинулась к нему, как если бы осознала внезапное несчастье.

— Подождите! Стойте! — крикнула она в ненаигранном ужасе. — Подождите, я объясню вам!

— Не стоит, — сказал он еле слышно.

Неловко справляясь с дубленкой, путаясь в рукавах, он наконец с облегчением надел ее и, охваченный знобящим сквозняком, заговорил неуравновешенным голосом:

— Вы чрезвычайно смелая и... непростая женщина, а я, я совсем другой. Не Дон-Жуан и не мушкетер. Обыкновенный преподаватель, да еще физики... Вы очень мне нравитесь. Только без лжи. И все же я благодарю вас. До встречи в университете. Надеюсь остаться вашим хорошим знакомым, если разрешите.

— Что же нам делать, Господи, спаси и помоги!.. — застонала она, молитвенно сложив ладони и простирая их к потолку. Но тотчас красивое лицо ее исказилось, стало незнакомым, обостренным, злым, она боком рванулась к двери, с отчаянной мстительностью распахнула ее и выкрикнула, захлебываясь в непонятном ему гневе:

— Уходите! Сейчас же уходите! Ненавижу себя и вас! Прочь! Я не могу!..

— Прощу вас, успокойтесь, — сказал он с болезненной жалостью.

В комнате, врезаясь в упавшую тишину, зазвонил телефон, она вскрикнула, а он, не застегиваясь, не надевая шапку, вывалился на лестничную площадку, бессознательно нажал на кнопку лифта. Но тут же прыжками побежал по лестнице вниз с лихорадочной мыслью: скорее бы, скорее!..

Он выбежал из подъезда в новогоднюю ночь, властно опавшую его колючей волной мороза, бросившей ему навстречу хаос огней, праздничных пожаров елок в окнах на всех этажах, розовые ползающие полосы на гребнях сугробов.

“Какая нелепица! Я схожу с ума! — думал он, торопливо шагая по зло хрустящему снегу. — Зачем эта неестественная ночь!” Когда я выходил, мне показалось, что на ее глазах мелькнули слезы. Какой же был смысл в ее слове “ненавижу”? Что оно значило? Я глупец! Глупец! Я все понял и не понял ничего. Господи, прости!”

У него ослабли ноги, и он обнял фонарный столб, приник лбом к его ледяному уюту, потом поднял голову, едва нашел в светло-туманном небе еле заметные звезды, плача и ядовито смеясь над собой от беспомощности.